

В. И. МЕНЬКОВСКИЙ

## РЕВИЗИОНИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ СТАЛИНИЗМА

Р. Киплингу принадлежит знаменитая фраза об иностранцах, писавших об Англии: «Что они могут знать об Англии, чего не знает она сама?». Перефразируя цитату, можно спросить: «Могут ли англо-американские советологи добавить что-либо к нашему пониманию собственной истории?». Сегодня ответ представляется очевидным. После падения политических и идеологических барьеров, появления возможности свободного изучения западной историографии, можно с уверенностью говорить о значимости как классических, так и современных работ ведущих англо-американских специалистов. Слабость многих советологических работ не отрицает ценность лучших исследований. Они интересны не только как образцы изучения становления сталинизма, но и до сегодняшнего дня сохраняют научную ценность, конечно, с учетом появившихся новых знаний о советском прошлом.

Важным этапом становления англо-американской историографии истории Советского Союза были 1960—1970-е гг. Если в послевоенный период в советологии задавали тон политологи и господствовала тоталитарная модель, то к началу 1970-х гг. среди исследователей значительно возросло количество историков. Слабость тоталитарной теории в объяснении послесталинских изменений в Советском Союзе была очевидной. Модель предполагала, что тоталитарные режимы бесконечно воспроизводят себя (можно даже использовать понятие клонируют), а изменения допускала лишь как результат внешнего воздействия. Однако советский режим чрезвычайно заметно изменился и потерял многие «тоталитарные» характеристики.

Ревизионистский подход предполагал использование методов и концепций, заимствованных из других дисциплин, и был основан на «номотетичной» методологии, предполагавшей наличие внутренних закономерностей развития советского общества. Спектр концепций, пришедших на смену тоталитарной модели, был достаточно широк. Это и структурализм, и бихевиоризм, и ряд холистских моделей, объяснявших политические процессы через действия социальных сил и политических институтов, конфликты и борьбу между ними. Ревизионистская историография не была монолитной, острые споры об уникальности советской системы, возможности ее сравнения с «обычными» западными политическими структурами шли в течение десятилетий и продолжают до сегодняшнего дня.

Новой моделью анализа советской политической системы, первоначально пришедшей на смену тоталитарной концепции, стала «конфликтная модель» [33, 26].

Она уже не была статичной, т. е. не предполагала, что система будет неизменной в течение длительного времени, и подчеркивала, что власть внутри советского руководства была постоянным объектом борьбы. Однако главное внимание вновь концентрировалось на вершине властной пирамиды, а не на политической системе в целом.

Шагом вперед в понимании политики внутри Политбюро как производной части всей политической системы стали структуралистские концепции. Они базировались на анализе взаимодействия политических и экономических институтов и создавали более сложную картину советской политической системы, чем тоталитарная и конфликтная модели. Структуралистский подход признавал наличие множественных интересов в партийном и советском аппарате, трактовал принятие политических решений как результат согласования различных интересов, подчеркивал разницу в процессах принятия решений и их выполнения и оценивал отношения между партийно-государственным аппаратом и обществом как интерактивные.

На состояние советологических исследований на рубеже 1960—1970-х гг. большое влияние оказала «бихевиористическая революция» в социальных науках, вызвавшая особое внимание к поведению масс и элиты [48]. Предметом углубленного исследования советологов стали отдельные аспекты функционирования советской системы. Акцент делался на природе политического лидерства, принятии решений и дебатах внутри партийного и советского руководства, смене политических лидеров [14, 43, 44]. Наиболее заметной работой 1960-х гг. была книга Д. Хоута «Советские префекты», анализирующая деятельность первых секретарей обкомов КПСС [25]. В. Бунсе отмечает, что эта работа выделялась потому, что, сочетая эмпирический и теоретический подход, она показывала реальный смысл функционирования и логику построения партийного и советского аппарата [7, 173].

Отвержение тоталитарной модели было стартовой точкой для западного ревизионизма, ставшего реакцией части молодых ученых США на доминирование исследователей старшего поколения, принадлежащих, с их точки зрения, к политизированной «научной школе холодной войны». В течение 1960-х гг., во время вьетнамской войны, эти теоретики подверглись атаке со стороны более критически настроенных представителей академического мира, которые отвергали то, что они считали «циничной манипуляцией политической теорией для службы интересам американской политики».

Критицизм советологов-ревизионистов, чрезвычайно резкий по тону, фокусировался, прежде всего, на злоупотреблениях научными стандартами ради уравнивания СССР с нацистской Германией. Многие ревизионисты считали, что это уравнивание служило оправданием американских военных приготовлений и военной угрозы в отношении Советского Союза. В наиболее полном виде это неприятие было выражено С. Коэном в работе «Переосмысливая советский опыт: История и политика с 1917 г.» [12]. Главу «Советология как призвание» из этой книги часто называют ревизионистским манифестом [21, 82]. С точки зрения С. Коэна, советология, развивавшаяся как быстрорастущая «противоречивая и энергичная» область американской академической жизни в конце 1940 — начале 1960-х гг., к началу 1970-х гг. была поражена глубоким кризисом. Советологическая литература стала интеллектуально выдохшейся, она просто повторяла или расширяла основные положения, развиваемые десятилетиями. Он прослеживал влияние холодной войны на формирование «консервативного согласия» в советских исследованиях, выра-

жившегося в подчеркивании линейного развития от российского большевизма к сталинизму и господстве тоталитарной концепции. Советология перестала концентрироваться на неизвестном и начала праздновать достижение того, что стало аксиоматичным. «Если стандартная версия советской истории и политики была неоднократно опубликована к началу 1960-х гг., что оставалось для ярких, амбициозных новичков или для самой профессии?» — задает вопрос С. Коэн. Выход он видел в ревизионистском подходе к советской истории, при котором «советофобия» не будет оказывать превалирующего влияния и советология станет областью конкурирующих взглядов, подходов и интерпретаций, способных дать ответы на сложный, многоцветный советский опыт [12, 86].

Известный американский историк А. Рабинович отмечал в интервью «Беларускаму гістарычнаму часопісу», что ревизионистская теория была создана поколением, на которое влияли интерес к социальной истории, вьетнамская война, возможность работы в Советском Союзе. «Когда появились первые ревизионистские работы, нам стало ясно, что мы не знаем советской истории. История, написанная в Советском Союзе, и советская история, написанная во время «холодной войны» в Соединенных Штатах — это извращение реальности» [1, 29].

Сторонники тоталитарной модели подходили к СССР как к закрытой системе, фундаментально отличающейся от западной. Применяя эту модель, они пренебрегали возможностью политических изменений. Ревизионисты, наоборот, видели некоторое подобие в функционировании западных демократий и коммунистических государств. С этой точки зрения было возможно использовать в изучении СССР эмпирические методы и теории, применяемые к западным системам.

Историки-ревизионисты, перенесли критическое восприятие тоталитарной модели и на сталинский период. Основываясь на эмпирическом изучении советской истории, они находили в сталинском режиме не только системность, планирование и механизм властного контроля, но и очевидную импровизацию, стихийность и непоследовательность. Так, Д. Хоуг в значительно переработанном и измененном им в 1979 г. издании книги М. Фейнсода «Как Россия управляется» (книга стала называться «Как Советский Союз управляется») постарался сбалансировать описание советской системы 1930-х гг., применив термин «неэффективный тоталитаризм». В 1980-е гг. историки-ревизионисты «второй волны» пошли еще дальше, заявив, что «неэффективный тоталитаризм» вообще перестает быть тоталитаризмом [23, 198].

Д. Хоуг писал, что, безусловно, советская политическая жизнь стала более авторитарной при Сталине. Но в исследованиях западных авторов количество жертв сталинских «чисток» было чрезвычайно преувеличено, а вывод об «атомизации» советского общества не соответствовал действительности, поскольку советская «мобилизационная» программа была беспрецедентной попыткой интеграции, а не атомизации общества. Однако научная литература продолжает говорить о тоталитарной системе. Это представление должно быть пересмотрено [24, 246—247].

Однако критика тоталитарной модели была лишь одной из задач ревизионистского научного направления. Во многом, продолжая советскую линию на десталинизацию конца 1950 — начала 1960-х гг., западные авторы, прежде всего М. Левин и С. Коэн, писали с симпатией о большевизме и революции, указывая на базовые расхождения ленинского и сталинского периодов советской истории и оценивая сталинизм как отклонение от правильного пути [11; 28; 29].

Ревизионисты резко критиковали «теорию непрерывности», которая рассматривала сталинизм как логическое продолжение революции и ленинского этапа советской истории. Сталинизм явился наиболее логичным продолжением ленинизма как теоретической концепции и политической практики. В основных чертах ленинизм и сталинизм представляли собой единое целое. Так, в сборнике «Преемственность и изменчивость в русском и советском мышлении», выпущенном в Кембридже в 1955 г., Т. Хаммонд писал, что анализ отношений ленинского периода показывает, что хотя советский авторитаризм достигает крайней формы при Сталине, основа его заложена значительно раньше Лениным. А. Улам, задавая вопрос о том, с помощью какой политической силы Сталин занял господствующее положение в обществе, отмечал, что ответ необходимо искать, прежде всего, в характере большевистской партии в ленинские годы. М. Фейнсуд подчеркивал, что Т. Хаммонд и А. Улам приходят к выводу, с которым он полностью согласен, — хотя советский тоталитаризм достигает крайней формы при Сталине, его основа была заложена Лениным [16, 145, 160, 175].

Идея непрерывности, почти идентичности советской истории не ограничивалась одним периодом времени или одной областью исследования. Она применялась ко всем сторонам жизни советского общества. Авторы исследовали, например, такие проблемы, как культ вождя или массовые репрессии в сталинские годы и находили им частичное объяснение в ленинских методах политического лидерства и управления партией. Англо-американская литература 1950—1960-х гг. давала огромное количество примеров такой точки зрения, ставшей в эти годы почти догматической. Например, Р. Даниэлс отмечал, что сталинская победа была не победой личности, а триумфом символа, человека, который воплотил и правила ленинизма и методы их осуществления. А. Мейер писал, что сталинизм может и должен быть определен как образец мышления и действия, прямо вытекающих из ленинизма. Д. Триадголд рассматривал сталинский режим как логическое следствие господства однопартийной олигархии, стремившейся строить социализм в стране, которая не была к этому готова. Д. Решетар, находя различия между ленинизмом и сталинизмом достаточно существенными, все-таки считал, что они отходят на второй план перед тем, что является общим. Ленин заложил основы, которые были развиты Сталиным и логично завершились «большими чистками», т. е. массовыми репрессиями [17; 35; 50].

Важным фактором, способствовавшим закреплению теории непрерывности в качестве господствующей в англо-американской историографии, стала ее близость к концепции тоталитаризма, уже в 1950-е гг. ставшей базовой для западной политической мысли и остававшейся таковой почти в течение 20 лет. Дискуссии, которые возникали при интерпретации советской истории, касались лишь отдельных аспектов, формулировок и не выходили за пределы теории тоталитаризма. В эти годы история и политология были почти едины в англо-американской советологии. В рамках рассматриваемого нами вопроса термины «тоталитаризм» и «сталинизм» для сторонников идеи непрерывности практически слились. Тоталитарная школа поддерживала идею непрерывности в развитии советского общества и внесла свою весомую лепту в поддержку этой идеи в академических кругах Запада. Теоретик тоталитаризма Х. Арендт в 1967 г. оценивала уверенность в неразрывной преемственности советской истории как господствующую тенденцию западного мышления [2, 345].

Р. Такер отмечал, что должно было пройти длительное время, прежде чем западные историки пришли к пониманию необходимости анализировать сталинизм не только как следствие ленинизма, но и как самостоятельное явление [52].

В 1950—1960-е гг. сталинский период рассматривался в англо-американской историографии скорее как единое целое, практически не изменявшееся в течение времени, чем как феномен, имевший собственную эволюцию. 1930-е гг. воспринимались как время, когда большевистская, а не только сталинская система, достигла зрелости и завершенности. Официальная идеологическая доктрина воспринималась как идеология всего населения, зачастую не учитывалась существенная разница между официальной пропагандой и реальной жизнью, а процессы в советском обществе объяснялись «внутренней тоталитарной логикой». Внимание в первую очередь фокусировалось лишь на некоторых аспектах советской истории — действиях руководства, государственном и партийном аппарате. Всем этим составляющим сталинской системы находились аналогии в предшествующих периодах советской истории. Так, Р. Слассер писал, что принятие тезиса о том, что ленинская политика напрямую привела к сталинской, вызвало у многих западных исследователей иллюзию, что проблема исторических корней сталинизма уже решена и больше не требует серьезного анализа [47, 1393].

В 1960-е гг. безраздельное господство теории непрерывности стало вызывать критические отклики в среде западных исследователей. Д. Хоут писал о первой половине 1930-х гг. как о «большом отступлении». Режим не только преследовал радикальных марксистов, но и отказывался от программ, с которыми они ассоциировались. «Отступление» середины 1930-х гг. было в большей степени связано с отказом от политики периода первой пятилетки, чем от политики 1920-х гг. С его точки зрения, непонимание западной историографией этого «разрыва» между первой и второй пятилетками привело к ошибочной трактовке многих чрезвычайно важных проблем советской истории и стало одной из серьезных причин поддержки тоталитарной модели [24, 242, 302].

Целый ряд ученых, принадлежащих к англо-американской исторической школе, в той или иной форме отклоняли тезис о непрерывности. Среди них можно назвать Р. Такера, А. Рабиновича, С. Коэна, М. Левина. Эти авторы не соглашались с выводом о безальтернативности развития советского общества, концентрировали внимание в своих исследованиях на переломных моментах в истории СССР и большевистской партии. Они признавали, что элементы преемственности между Октябрьской революцией, ленинизмом и сталинизмом существуют, считали это очевидным, но предлагали не ограничиваться констатацией общего, находить не только сходства, но и различия в разных периодах советской истории. С их точки зрения, самый слабый пункт в концепции непрерывности заключался в неспособности объяснить события, связанные с усилением, а затем и полной победой в послеленинский период именно сталинского направления. Названные авторы утверждали о наличии бухаринской альтернативы сталинизму, согласовавшейся с ленинскими взглядами последних лет жизни.

С точки зрения С. Коэна, среди всех исторических вопросов, связанных с большевистской революцией и ее результатами, наиболее важным являлся вопрос о взаимосвязи большевизма и сталинизма. В самом общем виде вопрос заключался в том, было ли становление сталинской общественно-политической системы прямым следствием событий 1917 г. и последующего десятилетия? Вопрос являлся на-

столько важным для понимания советской истории, что следовало ожидать его серьезного обсуждения в англо-американской историографии. На самом деле в 1940—1960-е гг. дискуссий по этой проблеме среди англо-американских исследователей практически не было, господствовала одна точка зрения. Большевизм и сталинизм оценивались и в политическом, и в идеологическом отношении как единое целое. Сталинизм определялся как логичное, правомерное и даже неизбежное продолжение большевизма, результат его развития. Имевшиеся специфические черты связывались с меняющимися обстоятельствами и необходимой адаптацией к ним. Идея непрерывности развития в значительной степени препятствовала пониманию необходимости изучения сталинизма как феномена с собственной историей, политической динамикой и социальными последствиями.

Непрерывность социального и политического развития объяснялась характером большевистского партийного режима и его агрессией против пассивного общества, являвшегося жертвой режима. Взаимодействие партии, государства и общества полностью игнорировалось. Советология практически не уделяла внимания изучению общества, концентрируясь лишь на изучении режима, при характеристике которого термины тоталитаризм и сталинизм использовались как синонимы. Классическое обобщение такой позиции принадлежало М. Фейнсуду, писавшему о «превращении тоталитарного эмбриона в заверченный тоталитаризм» [20, 59].

Советская история до 1929 г. рассматривалась лишь как прелюдия сталинизма, как процесс становления тоталитаризма. Например, А. Улам считал, что «после своей победы в Октябре коммунистическая партия начала движение к тоталитаризму» [54, 48]. Даже Э. Карр и И. Дойчер, не разделявшие антипатию большинства советологов к большевизму и имевшие собственные взгляды на многие аспекты советской истории, соглашались с идеей непрерывности развития ленинского и сталинского периодов. Э. Карр писал о том, что «Сталин продолжил и развил ленинизм». И. Дойчер, несмотря на признание многих «отличий ленинской и сталинских фаз советского режима», считал, что сталинизм «продолжает ленинскую традицию». При этом И. Дойчер отмечал, что определение баланса между общим и противоположным является самой сложной проблемой, с которой сталкиваются исследователи советской истории [8, 214].

С. Коэн соглашался с тем, что этот вопрос входит в число наиболее сложных проблем исторического анализа. Он требует внимательного эмпирического изучения, это, прежде всего «вопрос степени подобия и различия», т. е. вопрос о том, становятся ли количественные изменения качественными. С его точки зрения, сталинизм представлял собой крайность, чрезвычайный экстремизм во всех своих проявлениях. Например, проводилась не просто насильственная политика по отношению к крестьянству, а настоящая гражданская война; не просто репрессии, а террор в форме холокоста; не просто возрождение националистических традиций, а шовинизм; создание не просто культа вождя, а прославление деспота. Западные исследователи, характеризующие различные периоды советской истории, часто употребляли выражение «сталинизм без крайностей». С. Коэн считал, что такое выражение не имеет смысла, поскольку крайности составляли сущность сталинизма и именно они требовали объяснения историков [11].

Одним из первых среди англо-американских исследователей высказался против теории непрерывности Р. Такер. Отметим, что он подверг ревизии именно тот аспект, который казался большинству советологов абсолютно ясным и устоявшимся.

Р. Такер подчеркивал существенные отличия советской политической системы в 1930-е гг. по сравнению с предшествующими периодами. Большевистская система, на его взгляд, была однопартийной диктатурой, с олигархическим руководством в правящей партии. Хотя в 1930-е гг. политическая система сохраняла многие традиционные для большевиков организационные формы, она базировалась не на власти партии, а на власти личности. Был совершен переход от олигархического партийного к автократическому вождистскому режиму. Власть продолжала употреблять привычную терминологию — партия, лидер, террор, марксизм, чистки и т. д., но термины принципиально изменили свое реальное содержание [53, 55—56].

Р. Такер интерпретировал сталинскую «вторую революцию» как «поворот к проводимой государством «революции сверху», направленной, прежде всего, на превращение России в мощную военно-промышленную силу, способную сохранить себя во враждебном международном окружении и насколько возможно расширить свои границы» [52, XII]. Эта цель была связана не только с желаниями Сталина, являвшегося автономной политической силой, но и с долговременной традицией репрессивного российского государства. В этом контексте Р. Такер рассматривал русских царей, прежде всего Ивана Грозного и Петра I, как исторических предшественников Сталина и создателей модели автократического, централизованного, бюрократического государства, в котором репрессивная власть контролировала покорное население [52, 23].

Такой взгляд принципиально расходился с позицией сторонников тоталитарной теории, которые до сегодняшнего дня подчеркивают приоритет других факторов в становлении сталинизма. Так, М. Малия в книге «Советская трагедия: История социализма в России. 1917—1991» поставил перед собой задачу вновь подтвердить необходимость первостепенного внимания к идеологии и политике, а не к социальным и экономическим силам, для понимания советского феномена. Он писал, что тоталитарная природа коммунизма не может быть объяснена продолжением традиций российского авторитаризма или восточного деспотизма. Коллективистский характер советского общества не может рассматриваться как продолжение российских общинных отношений. С его точки зрения, очень трудно найти взаимосвязи между старой и новой Россией в проводимой большевиками политике. Зато истоки этой политики легко найти в социалистических идеях ленинской партии [34, 143].

Подобную точку зрения в 1990-е гг. подтвердил и Р. Конквест, писавший в работе «Сталин: Разрушитель наций», что весь период сталинского нахождения у власти можно рассматривать как череду попыток привести реальный мир в соответствие с идеологическими фантазиями, а затем, когда это не удавалось, попыток навязать убеждение, что фантастический мир все-таки стал реальностью [15, 323].

Развитие сталинской системы, по оценке Р. Такера, прошло через несколько стадий. 1930-е гг. могут быть разделены на три периода: социальный поворот 1929—1933 гг.; борьба за выбор пути развития в высшем руководстве (междучарствие) 1934—1935 гг.; окончательная победа сталинизма над большевизмом и политическое завершение «революции сверху» 1936—1939 гг. С. Коэн считал, что для общего понимания сталинизма особенно важны 1929—1933 гг., с его точки зрения, замалчиваемые западной историографией. Именно в эти годы сформировались основные черты сталинской системы [51, 81—84; 11, 8].

Позицию С. Козна можно объяснить именно в контексте неприятия им теории непрерывности. Считая сталинизм отрицанием ленинизма, он должен был искать истоки сталинского режима во второй половине 1920-х гг. При таком подходе естественно выделение периода, когда Сталин и его сторонники одержали победу над «правой» бухаринской оппозицией и могли реализовывать свой вариант «построения социализма». Т. е. можно говорить о том, что, критикуя тоталитарную теорию за превалирующее внимание к политике верхов, С. Козн использует именно этот критерий для выделения стадий сталинизма. Подтверждением такой оценки может служить и характеристика С. Козном последующих периодов как «междоусарствия» и «политического завершения революции сверху». Однако следует отметить, что для подтверждения своей концепции он использовал и выводы М. Левина, основанные на методах социальной истории. М. Левин через «взгляд снизу» пришел к заключению, что формирование основных черт «зрелого сталинизма» не было результатом реализации большевистской программы. Более того, он считал, что оно не было и результатом заранее продуманного сталинского плана. Многие составляющие сталинизма конца 1930-х гг. просто являлись реакцией сталинского руководства на кризис, вызванный его собственными действиями в 1929—1933 гг.

С точки зрения М. Левина, три фактора были решающими в формировании феномена сталинизма: разрушение прежних социальных структур и их постоянные изменения, связанные с индустриализацией; нестабильность аппарата управления; историко-культурные традиции. Все факторы действовали в одном направлении — укреплении веры во всемогущество государства и его символа — Генерального секретаря ВКП(б). Вместе с тем советская бюрократия, новые институты власти и управления на практике действовали в направлении укрепления российских государственных традиций, таких как этатизм и национализм.

«Предшественники» Сталина, например Иван Грозный, Петр I, Николай I, также разрушали устоявшуюся социальную иерархию и создавали новые элиты. Возглавив новый правящий слой, они устанавливали автократические режимы. Сталин стал высшим бюрократом в течение короткого периода времени, резко сжав и ускорив исторический процесс. Он не удовлетворился ролью одного из элементов, даже очень сильного, в созданной им машине власти. Он занял положение базиса всей системы, человека, на котором держится абсолютно все, отождествляя себя с государством и историческим процессом. В тех случаях, когда возникала угроза, даже потенциальная, его месту в системе, он «перетряхивал» весь аппарат управления, включая его высшие уровни. Борясь за сохранение власти, он был готов разрушить созданный им механизм или направить его развитие по пути, далекому от реальных интересов страны [32, 130—131].

Для М. Левина сталинская модель управления являлась образцом власти, при которой социальная структура подчинялась и подстраивалась под имеющиеся государственные институты и была объектом контроля со стороны аппарата управления, представлявшего собой гибрид старого царского и нового революционного режима. Он отрицательно отнесся к оценке А. Улама, считавшего, что Сталин действовал деспотично и иррационально только в тех сферах, которые находились полностью под его контролем. В этих ситуациях ошибочная и безответственная политика определялась его «большевистским» мышлением». Когда он действовал рационально, то это были действия выдающегося политика. А. Улам оценивал Ста-

лина как более важную политическую фигуру, чем Ленин. М. Левин категорически не соглашался с такой трактовкой, считая, что историк не должен использовать абстрактное понятие «большевистское (или коммунистическое) мышление, поскольку большевизм прошел стадии в своем развитии, менялся в зависимости от обстоятельств, и этот термин бессмысленно использовать вне исторического контекста [30, 73].

Позицию М. Левина, считавшего сталинизм «не столько прямым результатом большевизма, сколько автономным и параллельным феноменом, и в то же время могильщиком большевизма» поддерживал и Р. Даниэлс, писавший, что сталинский режим очень недолго представлял то движение, которое взяло власть в 1917 г. [31, 9].

А. Ноув приводил свою систему анализа соотношения ленинизма и сталинизма и доказательства того, что обстоятельства времени требовали сильного лидера и толкали политику в направлении «первоначального социалистического накопления», но при этом не оправдывал *крайности* сталинизма. Он также предложил определение *крайние крайности*: насильственная политика имела собственную логику и на практике реализовывалась со значительно большей жестокостью, чем это было действительно необходимо. А. Ноув называл эту ситуацию *сталинщиной*, и подчеркивал, что, в отличие от *сталинизма*, для нее не было объективных объяснений. *Сталинизм* же, он объяснял реальными обстоятельствами и писал, что легче представить Сталина, проводящего другую политику, чем ситуацию, в которой на посту лидера оказался бы не Сталин, а кто-либо другой из большевистского руководства. При этом А. Ноув подчеркивал, что даже если бы кто-нибудь из них оказался на этом посту, он вынужден был бы проводить политику, подобную сталинской. Уникальность *сталинщины* для А. Ноува заключалась в масштабе репрессий и в том, что они были направлены против своих (своих в двух смыслах — советских граждан и членов партии) [39, 204].

«Завершенный» сталинизм, со всеми его крайностями, не был обязателен, но возможность сталинизма была предопределена попыткой небольшой группы захватить и удержать власть, осуществить социально-экономическую революцию быстрыми темпами. В этом смысле Сталин действовал как продолжатель ленинского курса. Такой вывод не служит оправданием или осуждением действий Сталина, это лишь признание того, что сталинизм был во многом предопределен сложившимися обстоятельствами [41, 309—312].

Подобную точку зрения высказывал и Р. Петхидридж. В работе «Социальная прелюдия сталинизма», сравнивая Ленина и Сталина, он приходит к выводу, что действия обоих были ограничены реальными политическими и экономическими обстоятельствами. Но если Ленин во многих случаях стремился бороться против их негативного влияния, то Сталин цинично манипулировал ими для достижения своих целей [42].

Однако некоторые англо-американские исследователи находили возможность оправдания действий Сталина в сложившейся ситуации. Серьезный резонанс вызвала публикация Т. Вон Лауэ «Сталин между моральными и политическими императивами, или Можно ли судить Сталина?». Он считал, что, подвергая суду других, мы всегда судим и себя. Оценивая Сталина, мы оцениваем собственную способность понять наше время, нашу страну и нашу способность предотвратить повторение сталинизма. Т. Вон Лауэ спрашивал: «Какое право имеют американцы оце-

нивать действия граждан Российской империи во времена общественного хаоса и кризиса? Американцы всегда относятся к другим нациям и обществам так, как будто те имеют такой же исторический опыт и придерживаются тех же ценностей. Однако сталинизм формировался совершенно в других условиях, наши знания, о которых остаются неполными и неточными» [55, 1—3].

Далее Т. Вон Лауэ отмечал ряд объективных сложностей, в которых оказалось Советское государство, и делал вывод, что сталинский вариант ответа на эти проблемы был наиболее адекватен российским традициям и менталитету российских граждан. Т. Вон Лауэ признавал правоту знаменитой фразы Р. Конквеста о том, что сталинизм в такой же мере можно считать методом достижения индустриализации, как каннибализм — формой получения пищи, богатой протеином. Но он считал, что среди всех лидеров большевиков именно Сталин был наиболее близок русскому народу. «Организационный и моральный фундамент для сталинизма был подготовлен сложившимися обстоятельствами, и у Сталина хватило мужества и цинизма в полной мере воспользоваться этим». Сталинская революция была более значима, писал Т. Вон Лауэ, чем ленинская, поскольку Ленин имел дело с идеями, а Сталин с реальными людьми. Реальной предысторией пятилеток и коллективизации были не 1920-е гг., а российская история со времен татарского нашествия [55, 12].

Статья Т. Вон Лауэ, опубликованная в 1981 г. в журнале «Советский Союз» вызвала возражения со стороны многих известных англо-американских исследователей. А. Мейер, категорически не соглашался с тем, что достигнутая советская мощь может оправдывать сталинскую тиранию. Он не считал революционный, а тем более сталинский вариант развития единственно возможным и признавал наличие небольшевистских путей выхода из российской отсталости [36, 254—255]. С его точки зрения, исследователь должен в первую очередь симпатизировать жертвам, а не творцам истории. Ф. Баргхурн также отмечал, что сталинизм, отрицавший свободу, был скорее продуманной формой укрепления и сохранения власти правящего слоя, чем неизбежностью российского исторического развития. Он не разделял отношения Т. Вон Лауэ к Сталину и другим большевикам как к «патриотам России». Ф. Баргхурн писал, что это был странный патриотизм, если он требовал смерти миллионов советских граждан [3, 265]. Но для Т. Вон Лауэ, как он отметил в заключительной статье дискуссии, все эти аргументы звучали лишь как продолжение традиции вестернизации и американизации российских реалий.

С нашей точки зрения, эта публикация отражала некоторые серьезные явления, характерные как для американского общества в целом, так и для западной исторической науки. Совершенно правомерное стремление отойти от одностороннего взгляда на исторические процессы требовало изменения «точки отсчета» для многих явлений прошлого. Традиционное превалирование позиции «белого мужчины англосакса» вызывало недовольство как в обществе, так и в академической среде. Историки признавали возможность и необходимость написания альтернативных, нетрадиционных исследований, анализирующих исторический процесс через отношение различных социальных, национальных, гендерных слоев и групп. Но, как и всякое явление, этот интересный и серьезный процесс не должен был переходить определенные границы, не превращаться в отрицание ранее достигнутого ради процесса самого отрицания. Однако «политкорректность» в историографии зачастую повторяла крайности, присущие ей и в других сферах общественной и интеллектуальной жизни.

Т. Вон Лауэ оправдывал сталинизм не из симпатии к нему, а скорее из желания «поставить на место» англо-американское научное сообщество, подчеркивая в одной из последующих статей, что, как эмигрант, он видит серьезную опасность в американском отношении к сталинизму и Советскому Союзу [56, 373—389]. В заключение дискуссии 1981 г. он даже заявил о связи между научной оценкой сталинизма и гонкой ядерных вооружений. В. Лакуэр вернулся к оценке позиции Т. Вон Лауэ в 1991 г. в книге «Сталин: открытия гласности». Он писал, что отношение к осуждению Сталина как к «моральному империализму» (формулировка Т. Вон Лауэ) можно встретить только среди неосталинистов, но даже они постараются выразить свое отношение более осторожно [27, 234].

В своей интерпретации сталинизма англо-американские ревизионисты использовали также многие положения известных антисталинистов, стоящих на марксистских позициях, прежде всего Л. Троцкого и М. Джиласа. Наибольшее внимание в англо-американской советологии привлек вывод Троцкого о формировании в сталинском Советском Союзе «нового класса», под которым подразумевалась бюрократия. Практически все авторы признавали наличие в советском обществе привилегированного правящего слоя, возникшего в годы сталинского правления, но выражали сомнение в правильности употребления термина «класс» по отношению к этой группе. Т. Ригби и С. Коэн, например, предпочитали термин «сословие», А. Эрлих — «страта» [10, 27; 18, 153; 44, 65]. Такая позиция принципиально отличалась от взгляда Э. Карра, считавшего, что правящей группой в советском обществе был не класс, а партия [9, 91]. А с точки зрения А. Ноува, Сталин не только не выражал интересы бюрократической элиты, но боялся ее консолидации и поэтому проводил безжалостные чистки [40, 60].

Таким образом, в центре внимания историков оказывался более широкий круг вопросов, чем тот, который интересовал сторонников тоталитарной теории. Например, западные исследователи стали уделять серьезное внимание вопросам модернизации Советского Союза. В предшествующие годы теория модернизации зачастую отвергалась теоретиками тоталитаризма, во-первых, как потенциально конкурирующая парадигма, и, во-вторых, из-за ее вывода о том, что Советский Союз не во всех случаях следует рассматривать как уникальное явление.

Возникновение теории модернизации лишь частично было связано с советской историей. Прежде всего, она явилась отражением процессов, происходивших в государствах третьего мира. Антиколониальное движение привело к возникновению целого ряда новых государств, которые столкнулись с проблемами экономической отсталости, крайне низкого жизненного уровня населения, слабостью политических институтов. Развитие чрезвычайно отсталых регионов стало одной из наиболее драматических проблем, стоявших перед мировым сообществом, и привлекло внимание исследователей во многих областях науки.

Тема отставания в развитии, точнее стартового (первоначального) отставания, и его преодоления впервые в советологии была проанализирована в сборнике «Трансформация русского общества: Аспекты социальных изменений с 1861 г.», составленном на основании материалов конференции, прошедшей в Нью-Йорке в апреле 1958 г. [5]. Участники форума, среди которых были экономисты, социологи, экономические историки, предложили новый взгляд на проблему советского развития, которое рассматривалось в контексте общемировых тенденций, а не в проти-

вопоставлении им, как это было характерно для тоталитарной школы. Основное внимание было уделено модернизации страны, понимаемой как процесс перехода от аграрного к индустриальному обществу, базирующийся на значительном углублении человеческих знаний. Впервые, сравнивая Советский Союз с некоммунистическими странами, исследователи подчеркивали не только различия, но и общие черты. Например, рассмотрение историй индустриализации в России не ограничивалось сталинским периодом. Она анализировалась как процесс, начатый в конце XIX в. и продолженный большевиками.

С точки зрения А. Гершенкрона, сталинская политика должна была рассматриваться, прежде всего, как реакция на экономическую отсталость страны и продолжение курса на «вестернизацию», начатого реформами С. Витте. Подобный взгляд был поддержан также Т. Вон Лауз, К. Блэком, У. Ростом [5, 223—225; 22, 28—29; 45, 66]. Хотя предложенные аргументы были достаточно схематичны, заявленная позиция представляла интерес как новый аспект советологии. Сталинская политика рассматривалась в большей степени как ответ на реальные нужды страны, чем продолжение идеологической концепции, предложенной Лениным. При этом сталинские методы не оправдывались, более того, подчеркивались архаизм и жестокость многих мероприятий, превалирование насильственных методов решения сложных проблем. Действия советского руководства, с точки зрения многих авторов, далеко не всегда были адекватны сложившейся ситуации.

Выводы, к которым приходили англо-американские советологи, показывали наличие широкого разброса мнений в их среде. Так, в середине 1960-х гг. внимание специалистов привлекли статьи, а затем и монография А. Ноува, рассматривавшего вопрос о «необходимости» Сталина для советского развития. То, что может быть названо сталинизмом, писал он в работе «Экономическая рациональность и советская политика: Был ли Сталин реально необходим?», являлось продуктом индустриализации, а точнее решения об ускоренном развитии тяжелой промышленности. Поскольку это решение было непопулярным, для его реализации необходимо было применять социальное принуждение. Отсюда возникала и неизбежность полумилитаризованной партии и диктатора [38, 2]. В своих более поздних работах А. Ноув вновь отстаивал данную точку зрения. Например, в опубликованной в середине 1970-х гг. монографии «Сталинизм и после», он писал, что относиться к Сталину просто как к человеку, одержимому жаждой власти, было бы неполной правдой. Реальной причиной формирования сталинского режима была проблема индустриализации, уходящая своими корнями во время царей, войн и революций [40, 29]. А. Ноув открыто не оправдывал Сталина, но был достаточно близок к этому.

Другой точки зрения придерживался американский историк и экономист А. Эрлих. Он впервые в англо-американской историографии проанализировал внутрипартийную борьбу 1920-х гг. не только как борьбу за власть между «наследниками Ленина», но и как «дебаты об индустриализации». А. Эрлих пришел к выводу, что сталинский выбор стратегии развития страны в 1928—1929 гг. был обусловлен как политическими, так и экономическими причинами, которые следует рассматривать только в комплексе. Альтернативы, отвергнутые Сталиным, по мнению А. Эрлиха, могли принести Советскому Союзу лучшие результаты и потребовали бы меньших человеческих и материальных затрат [19, 164—187]. Этот вывод

во многом предопределил направление дальнейших дискуссий о советской индустриализации и сталинской стратегии модернизации в западной историографии.

В 1960-е гг. англо-американские ученые сделали первые шаги в направлении сравнительного изучения советской политической системы. Заметный след в истории советологии оставил сборник статей «Изучение коммунизма и общественные науки: Эссе о методологии и эмпирической теории», изданный под редакцией Ф. Флерона в 1969 г. [13]. Он подчеркивал разрыв между советологией и западным обществоведением и предлагал использование «сравнительного коммунизма» как формы применения методов обществоведения в советологии. После публикации Ф. Флерона тенденция сравнительного анализа коммунистических систем стала заметным явлением англо-американской историографии. Концепция подразумевала наличие различий в странах «восточного блока» и возможные различные пути их развития. Хотя сравнительный коммунизм не обязательно вел исследователей к сравнению советской политической системы с нетоталитарными режимами, он, безусловно, являлся заметным продвижением в применении в советологии концепций и теорий западного обществоведения.

Многие англо-американские ученые в 1970-е гг. приветствовали применение западных концепций, считая, что приспособление моделей для изучения Советского Союза полезно и будет способствовать взаимному обогащению советологии и общественной науки в целом. Но слишком легкое использование западных концепций таило в себе опасность, которую Д. Сартори назвал «концептуальной эластичностью» [46, 1033—1055]. Он не отрицал возможность сравнения политических систем, но подчеркивал необходимость учитывать различия в компонентах, зачастую носящих одинаковые названия. В первую очередь следует обратить внимание на опасность сглаживания черт различия советской и западной систем, поскольку применяемые концепции подчеркивают прежде всего их общность.

В конце 1970 — начале 1980-х гг. наличие слабых сторон применяемых концепций вызвало не только резкие критические оценки в англо-американском академическом сообществе, но и обсуждение самой возможности применения моделей в советологии. Так, В. Бунсе и Д. Эчолс отрицали возможность применения сравнительных исследований, считая, что этот метод принесет в советологию лишь новые ошибки, не исправив старых, порожденных региональным подходом к изучению СССР. Хотя они и признавали важность применения идей социальных наук из-за очевидных недостатков тоталитарной теории, но критиковали и отдельные моменты пришедшей ей на смену теории модернизации. Последняя заимствовала западные модели развития и плюрализма, но не уделяла должного внимания репрессивным тенденциям советского режима [6, 44—46].

Достаточно обещающие подходы в применении теорий западных социальных наук в советологии появились в начале и середине 1980-х гг. Ученые стали применять более строгие в теоретическом отношении подходы к изучению отношений между государством и обществом, этнической политики, отношений центра и периферии, институтов советской системы и роли элиты в политике [4; 37; 49]. Во все большей степени исследователи признавали необходимость применения теоретических разработок. Это стало особенно важно во второй половине 1980-х гг., когда появилась возможность использования новых материалов и проведения эмпирических исследований.

Изучение советского общества в эти годы становилось все более детальным и эмпирическим. Хотя задача описания системы в целом сохранялась, значительный интерес вызывал анализ ее отдельных составляющих. В то время как на ранней стадии изучения Советского Союза «советская политика» была практически равнозначна политике высшего руководства, в дальнейшем большее внимание уделялось политике низших уровней и комплексу взаимоотношений между гражданами и правительством. Исследователи также стали анализировать не только политический процесс, но и его результаты и последствия. Англо-американская советология стала значительно различаться в темах исследований, применяемых методах и делаемых выводах. Различия стали столь же значительными, как при изучении других регионов мира.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Рабинович А. Меня считали буржуазным фальсификатором // Беларускі гістарычны часопіс. 1998. № 4.
2. Arendt H. Comment on Ulam Adam «The Uses of Revolution» // Pipes R., ed. Revolutionary Russia.
3. Barghoorn F. 'Understanding' Stalin — or Critically Judging Him? // Soviet Union. 1981. V. 8. Pt. 1.
4. Bialer S. Stalin's Successors: Leadership, Stability and Change in the Soviet Union. Cambridge, England, 1980.
5. Black C. ed. The Transformation of Russian Society: Aspects of Social Change since 1861. Cambridge, Mass., 1960.
6. Bunce V. and Echols J. From Soviet Studies to Comparative Politics: The Unfinished Revolution // Soviet Studies. 1979. Vol. 30. Is. 1.
7. Bunce V. Union of Soviet Socialist Republics // Taras R., ed. Handbook of Political Science Research on the USSR and Eastern Europe: Trends from the 1950s to the 1990s. Westport, Conn., 1992.
8. Carr E. Studies in Revolution. New York, 1964.
9. Carr E. The October Revolution: Before and After. New York, 1969.
10. Cohen S. Bolshevism and Stalinism // Tucker R., ed. Stalinism: Essays in Historical Interpretation. New York, 1977.
11. Cohen S. Bukharin and the Bolshevik Revolution; A Political Biography, 1888—1938. New York, 1973.
12. Cohen S. Rethinking the Soviet Experience: Politics and History since 1917. New York, 1985.
13. Communist Studies and the Social Sciences: Essays on Methodology and Empirical Theory / Fleron F., ed. Chicago, 1969.
14. Conquest R. Power and Policy in the U.S.S.R. The Study of Soviet Dynasties. New York, 1961.
15. Conquest R. Stalin: Breaker of Nations. New York, 1991.
16. Continuity and Change in Russian and Soviet Thought. Cambridge, Mass., 1955.
17. Daniels R. The Conscience of the Revolution: Communist Opposition in Soviet Russia. Cambridge, Mass., 1960.
18. Erlich A. Stalinism and Marxian Growth Models // Tucker R., ed. Stalinism: Essays in Historical Interpretation. New York, 1977.
19. Erlich A. The Soviet Industrialization Debate, 1924—1928. Cambridge, Mass., 1960.
20. Fainsod M. How Russia is Ruled. Rev. ed. Cambridge, 1963.
21. Fitzpatrick S. Constructing Stalinism: Reflection on Changing Western and Soviet Perspectives on the Stalin Era // The Stalin Phenomenon, 1993.

22. *Gerscherkeron A.* Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, Mass., 1962.
23. *Getty A.* Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933—1938. New York, 1985.
24. *Hough J.* The Cultural Revolution and Western Understanding of the Soviet System // Cultural Revolution in Russia, 1928—1931. Bloomington, 1978.
25. *Hough J.* The Soviet Prefects. Cambridge, 1969.
26. *Kelley D.* Toward a Model of Soviet Decision-Making // American Political Science Review. 1974. Vol. 68 (December).
27. *Laqueur W.* Stalin: The Glasnost Revelations. New York, 1990.
28. *Lewin M.* Lenin's Last Struggle. New York, 1968.
29. *Lewin M.* Political Undercurrents in Soviet Economic Development: Bukharin and the Modern Reformers. Princeton, 1974.
30. *Lewin M.* Stalinism — Appraised and Reappraised // History. 1975. Vol. 60.
31. *Lewin M.* The Making of the Soviet System: Essays in the Social History of Interwar Russia. New York, 1985.
32. *Lewin M.* The Social Background of Stalinism // Stalinism: Essays in Historical Interpretation / edited by Robert C. Tucker. New York, 1977.
33. *Linden R.* Khrushchev and the Soviet Leadership, 1957—1965. Baltimore, 1966.
34. *Malia M.* The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917—1991. New York, 1994.
35. *Meyer A.* Leninism. Cambridge, Mass, 1957.
36. *Meyer A.* On Greatness // Soviet Union. 1981.V. 8. Pt. 1.
37. *Motyl A.* Will the Non-Russians Rebel? State, Ethnicity and Stability in the USSR. Ithaca, New York, 1987.
38. *Nove A.* Economic Rationality and Soviet Politics; Or, Was Stalin Really Necessary? New York, 1964.
39. *Nove A.* Stalin and Stalinism — Some Afterthoughts // Stalin Phenomenon / *Nove A.*, ed. London, 1993.
40. *Nove A.* Stalinism and After. London, 1975.
41. *Nove A.* Was Stalin Really Necessary? // Stalin and Stalinism. New York, 1992.
42. *Pethybridge R.* The Social Prelude to Stalinism. New York, 1974.
43. *Ploss S.* Conflict and Decision-Making in Soviet Russia, 1965.
44. *Rigby T. H.* Stalinism and the Mono-organizational Society // *Tucker R.*, ed. Stalinism: Essays in Historical Interpretation. New York, 1977.
45. *Rostow W.* The Stages of Economic Growth. Cambridge, Mass., 1960.
46. *Sartori G.* Concept Misinformation in Comparative Politics // American Political Science Review. 1970. 64(4).
47. *Slusser R.* A Soviet Historian Evaluates Stalin's Role in History // American Historical Review. 1972. December.
48. The Behavioral Revolution and Communist Studies; Applications of Behaviorally Oriented Political Research on the Soviet Union and Eastern Europe / *Kanet R.*, ed. New York, 1971.
49. The State in Socialist Society / *Harding N.*, ed. Albany, New York, 1984.
50. *Treadgold D.* Twentieth Century Russia. Chicago, 1972.
51. *Tucker R.* Revolution from Above // *Tucker R.*, ed. Stalinism: Essays in Historical Interpretation. New York, 1977.
52. *Tucker R.* Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928—1941. New York, 1990.
53. *Tucker R.* The Soviet Political Mind: Stalinism and Post-Stalin Change / Rev. ed. New York, 1971.
54. *Ulam A.* The New Face of Soviet Totalitarianism. Cambridge, 1963.
55. *Von Laue T.* Stalin Among Moral and Political Imperatives, or How to Judge Stalin? // Soviet Union. 1981. Vol. 8. Pt. 1.
56. *Von Laue T.* Stalin in Focus // Slavic Review. 1983. V. 42. Is. 3.